

ЛЯМАН БАГИРОВА

РАССКАЗЫ

Прачки

Людам тихого труда посвящается

*Тишайшую в мире славу
Они на плечах несут.*

М.Хамзина «Военным прачкам»

Тихо, ой, как тихо и скучно текла жизнь в одном из филиалов районных библиотек маленького города Энска. Изю дня в день лениво перетирались одни и те же разговоры, мысли, слова. Дни перетекали в месяцы, те – в годы, в десятилетия, но ни одна яркая светозарная мысль, ни одно пламенное чувство не посещали это царство сна и покоя. И можно было бы назвать его болотом, подчиненным одной своей внутренней жизни: время от времени где-то в глубине взрывались пузырьки гнева и обид, расцветали багровые кусты бабьих ссор, разливались ядовитым паром миазмы зависти и сплетен. Но и щедрость, и отзывчивость тоже жили в нем. В общем, как сказал один литературный герой: люди как люди, а вернее сказать – женщины как женщины! А где ж вы видели в библиотеках обилие мужчин?! Даже в крупных библиотеках, как правило, только с десятков мужчин (из руководства!) на две сотни дам! Что уж говорить о малютках филиалах... Ну, еще спорадические читатели мужеска пола полярных возрастных категорий – юные студенты и престарелые профессора. Тоска! Да, можно было бы назвать филиал районной библиотеки города Энска болотом, если бы не один случай.

Но обо всем по порядку.

В конце прошлого года маленький город накрыло бюрократическое поветрие. Какая-то странная перестановка началась в его чиновничьей жизни. Смещались руководители, пересматривались структуры. С высоких постов люди передвигались в подведомственные организации. Словно разыгрывалась какая-то доселе не известная шахматная партия. Еще не было ей названия, и никто не знал, красива она или нет, но фигуры по доске жизни двигались оживленно. Районная библиотека замерла в ожидании. Не сегодня-завтра должны были прислать новых работников или уволить старых...

Утро понедельника началось... неопределенно! Оно было не хмурое, и не солнечное, не ненастное и не погожее. И так и сяк! Сиреневое зимнее небо словно раздумывало – заплакать ему снежным дождем или улыбнуться бледным солнцем. И так, ничего не решив, замерло. И так же в ожидании знака небесного сиреневого дирижера замер серый оркестр – земля.

Екатерина Федоровна Царева, заведующая филиалом районной библиотеки, или как она сама себя называла – маленькая хозяйка ну, о-о-оче-еень маленького дома, знала дорогу до работы, как свои пять пальцев, могла пройти ее с закрытыми

глазами, и лицо ее с каждым пройденным метром становилось все серьезнее и суровее. Все одиннадцать месяцев в году, за исключением отпуска, она двигалась по одному и тому же маршруту – дом, выход из арки двора, маршрутка №38, шесть остановок, выход около здания бывшего райисполкома (а сейчас какая-то фирма с мудреным названием), 400 метров на север, минуя аптеку, переход на другую сторону улицы, фонарь...

Итак, классические: *Аптека, Улица, Фонарь...* Хорошо, что хоть Ночи не было. Ночью на работу не надо было ходить.

В пяти метрах от фонаря было скромное одноэтажное здание. Весь его вид и деревянная коричневая дверь (не облупившаяся, но порядком выцветшая) словно молили: «Я вам не помешаю. Тихо тут, незаметно в стороночке постою, ничьего места не займу, не гоните меня, не рушьте». Это и был филиал районной библиотеки.

Екатерина Федоровна любила свою работу. Вернее, за долгие годы свыклась с ней, а потом и полюбила. Выпускнице исторического факультета не нашлось работы по специальности, устроилась в библиотеку. Думала, на время – оказалось навсегда. За двадцать девять лет прошла путь от младшего библиографа до заведующей библиотекой. В ее подчинении были пять работниц – одна другой старше. Все замужние, с детьми, а некоторые и с внуками. И почти все – с осенней усталостью в глазах. Исключение составляла только тридцатитрехлетняя Мила. Лицо ее еще не приобрело выражения вечной заботы, какое обычно бывает у женщин с приличным семейным стажем. А в глазах, нет-нет да и вспыхивали озорные огоньки. Это немного разбавляло рутину коллектива, где все давным-давно знали друг о друге всё и были сценарированы не хуже бетонного блока.



А.Е.Архипов. «Прачки»

Екатерине Федоровне ее коллектив напоминал знаменитую картину художника Архипова «Прачки». На ней в строгой последовательности были расположены женские фигуры – от самой молодой (в дальнем углу картины, у окна) до самой старой, выжатой жизнью, – на переднем плане. Точно так же размещались столы библиотечарш в небольшом холле: у окна сидела Мила, и на столе ее беспорядочно теснились разноцветные органайзеры, папки для бумаг, веера, заколки, крохотные игрушки, открытки, тюбики с помадой и ярко-розовая чашка. От этой совершенно нерабочей пестроты рябило в глазах, но Екатерина Федоровна, которую коллеги за глаза называли «Царихой», не пеняла Миле. Ее яркий стол веселил, обнадеживал: «Держитесь, девоньки! Не все в мире черным-серо! Есть в нем и радостные краски!»

И закрывала глаза Цариха на сумасшедшее разноцветье Милиного стола и стеснялась признаться себе, что ждет, когда Мила забудет на нем то ярко-оранжевый шелковый платок, то очки в перламутровой зеленой оправе. К счастью, Мила особой аккуратностью не отличалась! Цариха ворчала на нее лишь для виду, а сама украдкой устремляла взгляд на разноцветное пятно – и на душе тепло.

Следующим стоял стол Тамары – полной рыхлой женщины лет 45. Была она на редкость словоохотлива, казалось, что вся энергия, выкачанная из тестообразного тела, сконцентрировалась в речевом отделе мозга. Говорила Тамара безостановочно и обо всем. Даже действия свои (в прошлом, настоящем и будущем) сопровождала комментариями примерно такого рода: «Вот, думаю, пойти мне или не пойти в магазин (туалет, аптеку, театр, рынок, кино). Что-то неохота, нет, встану, пойду, заодно и чаю себе налью, а его еще нужно поставить, нет, кроме меня, некому, что ли, вечно все я должна делать, нет, неохота, нет, пойду, ой, что-то голова заболела, таблетку бы принять, где-то у меня должна была быть таблетка, да где же она, черт бы ее побрал (яростные поиски в недрах сумки), а вот она, нет, это не от головы, а зачем же я ее с собой таскаю» и т.д., и т.п.

Унять этот речевой поток было практически невозможно. Тамара говорила во время работы, еды и даже, дремля в перерыве, умудрялась произносить несколько бессвязных слов! Как ни странно, на качество работы это не влияло – Тамара никогда не ошибалась ни в описании книг, ни в составлении карточек, да еще, если нужно было, успевала и другим помогать. И душой была щедра. Все маленькие рабочие праздники – дни рождения, Новые года, Восьмые марта – не обходились без Тамариной снеди: пирожков, салатов, пирожных, солений и компотов. Притаскивала она их из дома в огромных сумках. Едва отдышавшись, расставляла все на двух приставленных друг к другу столах, и с лица ее не сходило выражение заботы. Но, видя, как работницы с удовольствием поглощают яства, улыбалась широкой щербатой улыбкой – добрая душа ее ликовала!

Честно говоря, выдержать такое живое радио было трудно, работницы жаловались Царихе, и та несколько раз делала внушения болтушке. Тамара взбухала слезами, покрывалась пятнами и клятвенно давала обещание заткнуть словесный фонтан! Но выдержки хватило только однажды на полдня. Тамара сидела молча, и по багровеющей короткой шее коллеги догадывались, чего стоило ей молчание. Наконец, на какую-то новость из нее словно пробка из бутылки с квасом вылетел первый взглас: «А-а-а!», и вслед за ним понеслась стремительная пламенная речь. Шея приобрела нормальный оттенок, и все как-то сразу поняли, что молчание для Тамары опасно, что ее болтовня – не просто блажь, а какая-то особенность организма, возможно, болезнь. И мгновенно недовольный змеиный шип, задавленный гнев и грядущая бабья свара сменились сочувствием. В самом деле, не травить же хорошего человека только за то, что рот у него не закрывается. А где же тогда товарищеская солидарность?

Третьим по счету был стол Раисы – маленькой тихой женщины с вечно напряженным выражением лица. Черты его были мелкими и будто собранными в гофру – так обычно стареют люди с хорошим тонусом кожи: она покрывается сетью морщин, но не провисает. Раиса была татаркой, детство и юность ее прошли в глухой деревне. Она говорила по-русски с заметным акцентом и стеснялась его. В глазах ее словно навеки застыл испуг: она рассказывала, осторожно подбирая русские слова, что в детстве очень плохо ела, и мать, чтобы накормить ее, постоянно пугала каким-то человеком с красной бородой: «Ешь! А то придет Краснобородый и утащит тебя!» Существовал ли в реальности этот персонаж или был плодом отчаявшейся материнской фантазии, трудно сказать. Но однажды на деревенской улице появился заезжий торговец тканями. Пятилетняя Раиса, едва увидев его, дико взвизгнула и в мгновение ока взобралась, нет, даже взлетела на дерево!

Вся «вина» несчастного торговца была в крашеной хной бороде. Раиса просидела на дереве до вечера. Никакие уговоры и посулы не действовали на нее. Как перепуганный котенок, она забиралась еще выше, изо всех сил сжимая ветку, пока, наконец, кому-то не удалось влезть на дерево с другой стороны и схватить ребенка за подол платья. К вечеру поднялась температура, и в бреду Раиса, плача, выкрики-

вала: «Кзылсакал, кзылсакал» (краснобородый). Вся в ссадинах и занозах от коры, она пролежала в постели долгие три месяца, а когда поправилась, то наотрез отказывалась от одежды и еды красного цвета, и в глазах ее закаменел испуг.

Сидела она на работе всегда в одной и той же позе – двигались только руки. Тоже мелкоморщинистые, покрытые старческой «гречкой», они суетливо перебирали карточки каталога, заменяя ветхие на новые. Руки были недвижимыми только во время перерыва – сцепив их на животе и прикрыв глаза, Раиса покачивалась как китайский божок. Но на любой шорох отзывался ее по-звериному чуткий слух. И тогда на долю секунды из вечно испуганных узких глаз вырывался темный огонь, что-то древнее, воинственное проскальзывало в широких смуглых скулах, крыльях короткого носа, вздернутой верхней губе. Но – мгновение! – и воин в ее крови засыпал, и на смену ему вновь являлась маленькая испуганная женщина. У нее была большая семья: трое детей, два внука и куча родственников. В тесной роевой связи с их проблемами, радостями и печалью проходила ее жизнь, и она не мыслила себе иной.

Четвертым стоял стол Палны. Вообще-то ее звали помпезно: Цецилия Павловна, но гордое патрицианское имя пришлось не по зубам работницам библиотеки. Да и не только им. Как только имя не коверкали... Женщина была то Сесилия, то Цецилия, то Летисия, то Силя, Циля, Тиля. Стоическому терпению Цецилии Павловны мог бы позавидовать сам Атлант, но однажды соседский мальчишка выпалил ей одним духом: «Сисяпална», и тут она не выдержала.

На следующий день строго-настрого наказала называть себя только по отчеству, но и оно скоро трансформировалось просто в «Палну». Так и осталось.

Пална была строга и консервативна. На ее черном столе всегда стояла белая керамическая вазочка с перьевыми ручками. Иных Пална не признавала, заполняла формуляры книг только чернилами. Компьютера боялась, как огня, считая чуть ли не антихристом. Но память шестидесятичетырехлетней женщины была крепка, как гранит: Пална наизусть могла сказать, на какой полке находится та или иная книга, знала по памяти имена и фамилии всех читателей, и не дай Бог было кому-то задержаться с возвратом – гнев Палны достигал мгновенно.

– Ты долго книгу мутыжить будешь, ирод? А если она кому другому понадобится? И как это у людей совести не хватает...Чтоб завтра у меня на столе была!

Произносилось это все настолько беззлобным тоном, что никто не обижался ни на «ирода», ни на загадочный глагол «мутыжить». Незыблемость Палны успокаивала не хуже Милюгина разноцветья – значит, крепка еще жизнь, надежен охранительный свет ее маяка.

Пятый, самый дальний от окна и самый близкий к центру стол принадлежал уборщице Майе. В крохотных и сплоченных коллективах стираются иерархические грани: все давно забыли, что когда-то Майя переодевалась и пила чай в малюсеньком закутке под лестницей. Там сейчас хранился только ее рабочий инвентарь, а сама Майя перекочевала в холл.

Это был самый старый член коллектива, почти всегда дремавший за своим маленьким обшарпанным столом. Сколько ни предлагали ей заменить его, сколько ни объясняли, что он портит весь вид холла, Майя не соглашалась. А в минуты наибольшего волнения поглаживала стол, словно боялась потерять его, и походила на большого седого ребенка, вцепившегося в драную игрушку. Тогда женщины сразу, как по команде, жалели ее и умолкали. А Майя отходила от волнения, засыпая. Низко склонив голову и сложив узловатые руки на коленях, она посапывала тонким старческим свистом. И в эти минуты почему-то становилось смешно и щемяще-горько.

По сути, ее давно можно было проводить на пенсию и взять на место более расторопного и энергичного работника, но ни Цариха, ни прочие и слышать ничего не хотели об этом. Знали, что одинокая Майя не проживет дома и недели. А потому и прибирали сами, устраивали импровизированные субботники, драили и холл, и ма-

ленький читальный зал до блеска, а Майя, сидя за столом, шептала бледными губами: «Спасибо вам, девочки, спасибо». И еще что-то говорила, но Тамарин немолчный словесный ручей заглушал все.

Стол самой Царихи стоял на небольшом возвышении около стойки выдачи книг. Он – единственный из остальных был оснащен компьютером. Но Екатерина Федоровна пользовалась им нечасто: если нужно было отправить срочные документы вышестоящему начальству, подготовить отчеты, планы или выписать табель на получение зарплаты. В остальное время компьютер переливался заставкой на рабочем столе. Небольшой книжный фонд был изучен работницами назубок, а новой литературой маленькие филиалы баловали нечасто. Без компьютеров Цариха знала свое книжно-человеческое царство, умела навести в нем порядок и знала, что жизнь его будет идти так же размеренно и ладно, как и всегда. И диаметр круга жизни, как на картине Архипова, определен с математической точностью: от разноцветного дальнего стола Милы до старого ближнего стола Майи.

И вот – на тебе! Поветрие! Неделю Цариху гоняли в областную библиотеку, где она выслушивала нудные директивы, потом два раза вызвали в министерство, где сообщили, что в скором времени надо ожидать новых работников, и попросили представить список лиц пенсионного возраста на увольнение. Кроме 74-летней Майи, таких не было. Цариха не представляла себе, как объяснит старухе, что она больше не будет приходить на работу. Не представляла, что больше не увидит дремлющую уютную фигуру за маленьким столом, не услышит задыхающегося шепота: «Спасибо, девочки». Ну, нельзя так. Все понимала Цариха: и новые веяния, и реорганизации с реструктуризациями, но кожей чувствовала – нельзя! Погибнет Майя дома. Работа – ее дом.

Цариха решилась. Резко рванула дверь. На нее дохнуло воздухом библиотеки – бумаги, дерева и клея. В холле была пока только Раиса – хлопотала около электрической печки, заваривала чай.

– Я сегодня буду позже, Раиса. В министерство поеду. На совещание. Передай девочкам, – Екатерина Федоровна испугалась охрипшего своего голоса и еще больше легкости, с какой она соврала про совещание.

Раиса смешно наморщила лоб, будто считала что-то.

– Ха-ра-шо, Катрина Федоровна. Скажу.

Цариха улыбнулась. Тяжеловато все-таки даются Раисе русские слова. Как бы Тамара не уболтала ее своими вопросами «что?», да «почему?», и «зачем поехала?» Ну, да, пока Раиса составит фразу, Тамара уже несколько речей выпалит и, может быть, устанет!

Опять дорога. Фонарь, улица, аптека... И снова маршрутка № 38, которая привезет Цариху уже в центр города к большому серому зданию. Министерство...

Узнает ли?... Сколько лет прошло...

– Вадим Русланович у себя? – устало осведомилась она у охранника. И, заметив его недоверчивый взгляд, прибавила:

– Помощник заместителя министра. Я заведующая 3-м филиалом областной библиотеки – Царева Екатерина Федоровна.

Тот, по-прежнему бросая недоверчивые взгляды на замотанную платком тетку, позвонил по внутреннему телефону. И через минуту пробурчал Царихе:

– Проходите. Третий этаж, 8-й кабинет. – По тону его чувствовалось, что он ни капли не поверил, но раз уж Старшой приказал пропустить, то, что уж...

«Наверно, принял меня за бедную родственницу. И в чем его винить? – подумала Цариха, бросив взгляд в зеркало между этажами. – Совсем себя запустила. Бледная, в лице ни кровинки. Сердце колотится, как у зайца, руки влажные. Маникюр

давно пора обновить, волосы покрасить-уложить, да и пальто купить не мешало бы. Ну, была-не-была!»

С этими словами она толкнула зеленую дверь с золотой табличкой: «Булатов В.Р. – помощник заместителя министра культуры по библиотечной работе».

Через полчаса она вышла из кабинета еще более бледная, чем обычно, медленно спустилась по лестнице, перевела дух. А затем, развернув плечи, пошла к выходу, по пути кинув охраннику: «Всего доброго». И тон ее был снисходителен.

Уже развиднелось, с неба сошла обморочная сиреневая стынь, но ни один луч солнца не мог пробить плотные облака. Екатерина Федоровна не спеша пошла к остановке. 38-й автобус приехал сразу, и женщина подумала: какое же все-таки счастье вот так ехать в полупустом (рабочий день был давно в разгаре!), холодном автобусе, просто смотреть в окно и думать о своем.

За окном мелькали привычные здания, вывески, светофоры, памятники, и Цариха удивлялась им, словно видела впервые. А может, так оно и было на самом деле. Много ли заметишь, когда рано утром в толчее, не помня себя от спешки, мчишься на работу, а вечером в такой же толчее возвращаешься домой? Это надо же – как много новых лавчонок-магазинов открыли на пути ее маршрута, какие-то здания снесли, где-то вовсю идет ремонт, а она только сейчас это видит...

И все же мысли настойчиво возвращались к тому, что произошло меньше часа назад в кабинете заместителя министра.

А произошло в нем вот что. Вадим Русланович Булатов, а когда-то попросту Вазя – однокурсник Царихи был несказанно ошарашен и обрадован, узнав в постаревшей женщине бывшую веселую Рину Коваль – девушку с солнечной улыбкой и задорными ямочками на щеках. На должность помощника заместителя министра его, доктора исторических наук, назначили недавно, и он только знакомился с делами. Вазей называли его друзья и близкие – он смешно выговаривал букву «д», получалось не «Вадя», а «Вазя». Так и прилипло к нему это прозвище – смешное и милое одновременно. Был он человеком доброжелательным и открытым, и больше любил слушать, чем говорить. Это было добрым знаком. Из таких людей получаются хорошие руководители.

Когда первый шок (улыбки, ахи, повлажневшие глаза и расспросы: «как ты?», «что ты?», «где ты?») прошел, Цариха изложила свою просьбу:

– Нельзя ей дома, Вазя, понимаешь. Ну, нельзя. Умрет она дома. Пусть уж ноги волочит, а все же приходит. Мы ее дом. Вся жизнь ее в библиотеке прошла, пусть уж до конца будет с нами, пока вообще нас не расформируют.

Булатов слушал молча и барабанил по столу пальцами.

– Да зачем тебе нужно это болото? – вдруг заговорил он горячо. – Ведь ты не старая еще, видная женщина, тебе оно нужно – гнить в старых книжках, с одними и теми же разговорами? Понимаю, не все сразу, но начинать ведь с кого-то нужно. Зачем тебе этот прокисший раритет под названием Майя? Ну, навещайте вы ее дома, раз никого у нее нет, гостинцы приносите, пенсию она регулярно получать будет, но что ей тащиться каждый день в библиотеку? Ни толку, ни виду, ни проку. А если с ней что случится по дороге, так тебя же первую таскать будут, что, мол, немощного человека не уволила, и он вместо того, чтобы дома сидеть, чай с вишневым вареньем гонять, на работу выходил.

– Не случится, – упрямо возражала Цариха. – Она недалеко от работы живет, ей два двора пересечь, и она уже на месте. А дома у нее нет никого, пойми, Вазя. Ни котенка, ни щеночка, ни попугая. Не может она их завести, потому что ухаживать за ними надо, а она не потянет.

– А с вами, значит, потянет? – усмехнулся чиновник. – Это каждый день утром вставай, одевайся, ноги больные в обувь всовывай, выходи из дома, вспоминай, не забыла ли свет, газ, воду выключить, и в случае чего возвращайся выключать. Потом

дворы пересекай, трюх-трюх-трюх! И через час с четвертью ценный работник уже на месте! И сама говоришь – живет недалеко. Значит, сможете каждый день ее навещать

– Не язви, Вазя, тебе не идет, – нахмурилась Цариха. – Я говорю тебе: нельзя так. Не в посещениях дело. Просто не сможет она дома. Может, ее и держит только то, что знает: завтра на работу! Пойми!!!

Несколько секунд прошли в молчании. Только слышно было, как Вазя выбивает по столу барабанную дробь.

– Какая была, такая и осталась, – сказал он. – Рина... Помнишь, почему тебя так называли в институте?

– Екатерина, Катерина, Рина, – пожала плечами Цариха.

Лицо бывшего сокурсника не выражало ничего хорошего, и ей стало не по себе. «Хреновый я руководитель – своих защитить не могу», – устало подумалось ей.

– Ты зеленый цвет умела носить так, что все только ахали, – улыбнулся Вазя. – Все его оттенки: от светлого до болотного. Царицей была в нем. Вот и прозвали тебя Риной, как Рину Зеленую.

– Так и та тоже была Екатериной, – тихо сказала женщина.

– Бог с тобой. Пусть остается ваша Майя еще на год. Там дальше видно будет. Ты лучше о себе расскажи. Муж, дети, внуки?..

Цариха почувствовала огромную усталость. Она что-то продолжала машинально говорить, отвечала на вопросы, рассказывала об успехах детей, сама о чем-то спрашивала, но все это было фоном. Главное было пройдено. Главное она сделала. Ее маленький мир, ее родные прачки – от Милы до Майи – были с нею. Пусть на год, но это тоже победа. А если можешь отстоять маленький мир, значит, сумеешь победить и в большом. Меняются только масштабы, суть остается прежней.

Расстались они с Вазей любезно. Тот дал ей свою визитку, просил не стесняться, звонить, если понадобится какая-то помощь. И вообще быть на связи. Цариха спрятала визитку в дальний кармашек сумки – знала, что лишний раз беспокоить начальство не будет.

«Болото», – усмехнулась она про себя, пройдя аптеку, улицу, фонарь и открывая дверь библиотеки. – «Нет, Вазя, зря ты так. И в болоте есть жизнь, и оно дает плодородный ил, и в нем расцветают дивные цветы. Смотри, как отнесешься... А чем мы, к примеру, не те же прачки с картины? Точно так же отмываем, оттираем книгами человеческие души, делаем их чище и...»

Екатерина Федоровна вздрогнула. На нее из холла смотрели пять пар глаз. Крохотный, родной до боли коллектив – пять женщин, пять ее девочек – стояли за столами и молча смотрели на свою Цариху.

Мила с юными искорками в глазах, Тамара – с тревожным блеском серых навывкате глаз, Раиса – с едва сдерживаемым темным огнем в узких глазах, Пална – с ироническим блеском из-под набрякших век и Майя... Ее карие глаза были покрыты старческой пленкой и оттого казались небесно-голубыми.

– Ну, что встали, девочки? Что случилось? Все хорошо, – улыбнулась Екатерина Федоровна. – Вот и солнышко прорывается уже. – Солнце действительно словно решило поиграть в прятки: то показывалось на мгновение, то снова пряталось за облака. – Работаем. Кто-то утром возился у плиты, чай заваривал, так можно мне чашечку чая? Или не положено?! – добавила она уже шутливо.

Разом выдохнули, захопотали, зажурчали речью. Перекрыть Тамару было, конечно, невозможно, но и остальные внесли в этот неумолчный поток свои голоса: звенела смехом Мила, подтягивала низким грудным голосом Раиса, басила Пална.

– Благослови тебя Бог... Цариха, – шепнула Майя, и шепот ее услышали.

– Цариха! – повторили, как эхо, другие. – Цариха наша!

– Ваша, – улыбнулась Екатерина Федоровна. – А чья-ж еще?..

Павел Никанорыч

Всем детям, погибшим в войнах, посвящается

*В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись,
ребёнок –
Последний гражданин села.*

С.Маршак

Павел Никанорыч Скрепин, бывший пилот гражданской авиации, а ныне пенсионер, увлекался на досуге всем, чем только можно. Легче было перечислить то, что не входило в круг его хобби, чем то, на что падал его жадный до жизни взор. Он собирал мозаику из расколотых фарфоровых чайников, рисовал акварелью (масло недолюбливал – считал тяжелым для воздушного искусства живописи!), играл на гитаре, настаивал водку на черной смородине – получалась фирменная темно-розовая «скрепинка», составлял кроссворды, вырезал и выжигал по дереву, делал панно из разноцветных кристаллов соли, которую сам же выпаривал и окрашивал. И даже пытался выткать коврик на собственноручно собранном ткацком станке. Но потом бросил эту затею – уж больно подтрунивали над ней жена, дети и внуки. Беззлбно, но постоянно!

Занимался садоводством: хвастался знакомым необъятного размера тыквами, которые ему удалось вырастить, тряся над специально огороженным уголком сада, который засадил ценным видом крокусов, и по осени собирал в изящные шкатулки невесомую драгоценность – шафрановые тычинки. Они источали тонкий терпкий аромат, и жена Павла Никанорыча добавляла их в праздничную сладкую выпечку. И исходили нежным пряным духом высокие ноздреватые пироги с яблоками, булки с маком и творогом. И радостно становилось на сердце от этого духа. От него веяло покоем и уютом. Как и от большого отцовского самовара, по-стариковски ворчащего на столе. И от расписных чашек – Павел Никанорыч знал их узор наизусть, мог повторить с закрытыми глазами все линии знаменитого хохломского рисунка «травка» и все же не уставал удивляться человеческому таланту, творящему красоту.

Список «хоббей» Павла Никанорыча можно было бы продолжать и продолжать. Он обожал стряпать, причем отдавался этому делу со всей страстью. С ловкостью фокусника он разбивал яйца об угол плиты, легко взбивал, и его белая, изнеженная, вовсе не авиаторно-штурвальная рука так и порхала в воздухе! Что-то перетирал в ступке, принюхивался, недовольно покачивал головой, добавлял из заветных холщовых мешочков то щепотку майорана, то душицы, то черного перца и снова перетирал. Забеливал яичную смесь сливками (молоко – фи! – бюджетный вариант! А высокое кулинарное искусство не терпит экономии!), добавлял пыль пряностей, колдовал над чугунной сковородой (для каждого блюда – отдельная посуда!) и наконец – ах, бейте в литавры, вступайте струнные! – солнечный, пышный, пряный омлет ложился на керамическую тарелку! Заранее подогретую, чтобы не опало яичное чудо раньше времени, и красную, чтобы гармонировало по цвету!

А уж в засолке и заготовках разных не было Павлу Никанорычу равных. Уж на что жена была ревнивая хозяйка – моя кухня, и все тут! – но и она смиренно отсиживалась в комнате, когда Павел Никанорыч, священнодействуя, погружал руки в таз с нарезанными овощами. Солил, жамкал, ворочал тяжелые пласты капусты, пер-

цев, баклажанов, огурцов и прочей огородной братии. Кухня наполнялась острым соленым запахом, а Павел Никанорыч уже угадывал в этой сырой массе рождение шедевра – неповторимых солений по-скрепински. И когда они, яркие, словно разноцветные фонарики, сдобренные укропным и сельдерейным семенем, подавались к столу, Павел Никанорыч всякий раз волновался. Не ударил ли в грязь лицом, не ошибся ли в составе продуктов? Вдруг не одобряют дети и внуки?! А они и без того редко приезжают...

И, лишь убедившись, что едоков от стола за уши не оттащить, ликовал: «Верен глаз, верен! И память не подводит!»

А еще Павел Никанорыч писал. Уму непостижимо, как находилось у него на это время, но не одна тетрадка была исписана его мелким, убористым почерком. Писал (и довольно талантливо) стихи, романы, мемуары, принимал участие в литературных конкурсах, завоевывал какие-то призы. Издал даже несколько книг и щедро раздавал их друзьям. Те бурно благодарили и, придя домой, лениво пролистывали несколько страниц. Потом убирали на полку, и книга стояла там, радуя глаз глянцевым корешком с надписью «П.Н.Скрепин. Сочинения.»

Автор догадывался о «полочной» судьбе своих книг, но это не особо его волновало. Слишком кипуча была его натура: с писательской деятельности переключался на что-то другое, потом на третье, четвертое. И все выходило у него ладно, красиво, а на удивленные вопросы, как, мол, у него все так спорится, отвечал словами академика Павлова: «Лучший отдых – перемена деятельности». А от себя уверенно прибавлял: «Если деятельность с любовью, то и сладится все!» И подмигивал при этом так весело, что и сомнений не оставалось – с любовью все получится!

Терпеть не мог Павел Никанорыч одного – уныния. Однажды швырнул в телевизор тапком, когда услышал, как какой-то современный поэт вещал со скучающей миной: «О чем писать? О чем нам говорить? Что наше время может породить? Лишь пустоту и звонкое бездумье».

Обычно спокойный и благодушный Павел Никанорыч побагровел, и лицо его выразило две последовательные эмоции: искреннее недоумение и мгновенную ярость.

Тапок, запущенный в телевизионную поэтову физиономию, не достиг цели. Летя по кривой траектории, он совершил жесткую посадку на спине мирно дремлющего кота Александра. Тот был назван так в честь собственной неведомой македонской породы. Так ее охарактеризовал продавец на рынке. Видно, уж очень хотелось ему сбегать испуганного котенка обычного камышового окраса. Ушлый продавец на все лады расписывал мифическую, на ходу сочиненную македонскую породу, и Павел Никанорыч, не раздумывая, сунул худенькое тельце за пазуху, а продавцу немедленно отдал 500 рублей взамен просимых 400! На безмолвный вопрос жены кратко ответил: «Надо же платить за талант! Это ж какая фантазия у человека – на ходу изобрел породу, выдумал ей историю, расписывал достоинства и ни разу не сбился!»

Котенок, испытавший в своей короткой жизни немало превратностей судьбы, был назван в честь великого полководца и в дальнейшем соответствовал громкому имени. Превратился в роскошного шестикилограммового кота и держался с царским достоинством.

Тапок любимого хозяина поверг его в смятение. Он меланхолично подпрыгнул, недоуменно посмотрел на Павла Никанорыча и ушел в другую комнату. К хозяину он не подходил несколько дней, взял обиженную паузу. Павел Никанорыч, души не чаявший в питомце, несколько раз извинялся, но Александр был непреклонен и смягчился только после внушительной порции ухи. За рыбу кот был готов простить даже чёрта!

Но факт оставался фактом – Павел Никанорыч искренне не понимал, как может быть скучно.

«О чем писать, о чем писать? – продолжал ворчать он, вспоминая ненавистного поэта. – Глаз у людей, что ли нет? Да ты посмотри вокруг – разве исчезла красота, разве жизнь не богата сюжетами? Конечно, если никого, кроме себя, любимого, не видеть, так и писать, пожалуй, не о чем. Да и делать тоже. Такому, конечно, всегда будет скучно, хоть хороводы вокруг води!»

И в подтверждение своих слов приводил случай из собственной жизни. Рассказывал, поигрывая небольшим складным ножиком с коричневой ручкой. Лезвие его было тонким – стерлось от времени, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять: острый, как бритва.

Павел Никанорыч явно гордился им. Будто невзначай поглаживал, несильно упирал мясистый палец в острие, отчего по коже мгновенно расходились красные лучи, складывал и снова выбрасывал лезвие. Нож словно пел в его руке, ладно и ловко ложась в изгибы ладони.

– Настоящий золинген, – хвастливо повторял Павел Никанорыч. – Видите знак – два мальчика? Это фирма такая немецкая – самая лучшая по производству стали. На всех изделиях ставится знак – фигурки двух мальчиков.

Собеседнику приходилось долго вглядываться, прежде, чем он мог разглядеть у основания лезвия полустертые фигурки двух человечков.

– Звилинг, – торжественно произносил Павел Никанорыч, как-то по-особенному позванивая последними звуками: ин-нг, инн-нг! Казалось, что в горле бывшего летчика распевается неведомая птица с тонким металлическим голосом. – Звили-инг! Что значит – близнецы! – удовлетворенно припечатывал он слог «цы» и вглядывал на собеседника: «что, мол, каков я?». Собеседнику ничего не оставалось делать, как восторженно ахать. Довольный Павел Никанорыч распускал лучики-морщинки на пухлом лице, предвкушая начало действия. Мизансцена была готова: талантливый актер-рассказчик и благодарный слушатель.

– Фирма знатная, – вздохнув, начинал Павел Никанорыч, – аж с XVIII века. А началось все не с Близнецов, а с одного Близнеца. Оружейник Кирч в городе Золинген владел торговым знаком «illing» (близнец). И в 1731 году разрешил какому-то своему родственнику пользоваться этим знаком. А тот был смекалистым и, чтобы расширить дело, пригласил в него своего приятеля. И добавил его к знаку. Получился уже не «illing», а zwilling – близнецы. Так и существует этот знак по сей день. Только это все присказка. Сказка впереди.

На этом месте собеседнику надлежало податься корпусом вперед и изобразить на лице напряженное внимание. Ах, как жаждала его щедрая душа рассказчика!

– Случилось мне в самом первом своем отпуске поехать в Нижегородскую область. Было это в 60-х. И скажу вам, кто не видел октябрь в этих краях – много потерял. Едешь на машине, словно на ковре-самолете летишь. И ковер этот – желтый, зеленый, красный, коричневый, золотой – так и горит на солнце. Осины, березы, дубы, липы, рябины – у каждого листа свой оттенок, свой характер. Богатство-то какое! Дух захватывает от красоты. Вот уж и вправду, «лес, точно терем расписной». А еще вдоль дорог дома деревянные старинные со ставнями, наличниками кружевными, словно платками узорчатыми накрылись. И дома все в разные цвета выкрашены: зеленый, синий, желтый, розовый. Не то что у старообрядцев – те в основном из цельных бревен дома кладут, а бревна чернеют быстро, и кажутся дома темными и угрюмыми. Другое дело – из досок дом собрать, а потом выкрасить в веселые цвета. На душе радостно. И понимаешь, что не зря именно в этих местах родилось такое чудо, как хохломская роспись. А спросите меня, почему?

– Почему? – покорно вопрошал собеседник.

– А потому, – расцветал улыбкой Павел Никанорыч, что хохлома свой секрет дивный от природы взяла! И каждый цвет в ней – знак! Черный – земля-кормилица, красный и зеленый – жизнь, а золото – свет. Все то, что человек видел вокруг, пе-

реводил в узор. А дерево, по которому его наносили, – основа всего. Деревянная посуда легкая, теплая, наши предки на деревянных ложках-плошках выросли и здоровыми были. И цари ее не чурались, в почете она была на царском столе. Только вы привыкли видеть хохлому сверкающую, лакированную, переливающуюся так, что аж глазам больно от блеска, а я вот вам сейчас покажу...

С этими словами в Павле Никанорыче вновь просыпался фокусник!

Не то из недр шкафа, не то из кармана, не то вообще из воздуха мгновенно извлекалась и ложилась на стол перед собеседником темная маленькая ложка с облупившейся красной краской и почти стертым узором.

Далее выдерживалась театральная пауза, во время которой собеседнику надлежало пристально вглядываться в артефакт. Наконец, Павел Никанорыч торжественно изрекал:

– Такой была хохломская роспись перед самой войной и во время ее. Ни лака, ни ярких красок, ни хорошей обработки. Видите, сколько на ложке сколов и зазубрин? Это значит, что древесину не обработали как следует. Липа (а вырезают только из нее, потому что самая податливая и мягкая) должна отлежаться года два на открытом воздухе, а потом ее еще на год вымачивают в воде. Только тогда дерево становится нежным, как воск. Работать по нему – одно удовольствие. И когда вырезают будущую посуду – она еще белая, сырая. Так и называется: «бельё». Это уж потом ее грунтуют, «вапят» красной жидкой глиной – вапой, олифят, лудят алюминием и уж только потом по луженому слою кладут узор. А потом запекают в печах. И в них серебристый алюминий сразу становится золотым, а краски узора ярче. А уж потом лакируют, и появляется на свет то чудо, которое вы привыкли видеть. Но в войну какие уж там краски и лак... Самим бы уцелеть. А все-таки люди сберегли древний промысел, не дали ему угаснуть. А досталась мне эта ложка вместе с ножом от попа...

Павел Никанорыч отхлебывал из большой чашки и вещал словно былинный сказитель:

– Так вот, почти все ездили тогда диким образом. А тем более мне, молодому, неженатому еще, недавно окончившему училище, сам Бог велел! А что?! Приехал, поспрашивал людей на вокзале, кто где сдает комнату или дом, и поехал налегке. И на душе легко – все перед тобой, как на ладони, и думаешь, сколько еще интересных людей встретишь, сколько красоты вокруг увидишь. Когда молод и здоров – кажется, что и мир улыбается тебе.

Сказали мне, что в доме номер 4 по улице Демократической хозяин сдает комнату. Отправился я туда и все диву давался: дома старинные, деревянные, резные, есть и крепкие, есть и ветхие, покосившиеся, а названия улиц все как на подбор революционные: Трудовая, Демократическая, Чкалова, Чапаева.

Добрался до низенького – оконца чуть ли не в землю вросли! – домика, постучался в дверь. Вышел хозяин, и я чуть не отпрыгнул.

Поп! Щупленький, горбатый, седенький, хромой. Ряса по земле стелется, а трава около крыльца ему почти по пояс.

Попик словно из допетровских времен выступил – на голове высокая скуфейка и лицо такое строгое, иконописное, востроносое. Спрашивает и упирает на о:

– По какому вопросу пожаловали?

Объясняю все, как есть. Он смотрит на меня исподлобья и говорит так, словно тугую шкатулку растворяет – с придыхом.

– Пойдемте, покажу вам комнату. Возьму недорого – 15 рублей устроит вас?

Прикинул я: вроде нормально. Договорились.

И тут я заметил, что у него в руках болтается на цепочке вот этот самый нож золинген. Не по себе мне стало. А тут еще стемнело, и по полу синие тени пролегли. Половицы старые, скрипят, на них синий сумеречный свет, и поп этот с ножом так бесшумно двигается, словно плывет. Честно говоря – похолодело у меня внутри.

А хозяин, видно, почувствовал, поворачивается ко мне боком, так что одна сторона лица его освещена была, а вторая нет, да еще и подбородок выпятил – ни дать ни взять Иван Грозный, только низенький, хромой и горбатый!

Я напрягся, а он вдруг улыбнулся и снова как тугую шкатулку приоткрыл:

– Нож заметили? Вы не бойтесь. Это память и утешение мое. Друг, можно сказать. – И ласково погладил нож по рукоятке. – Садитесь, сейчас чай будем пить. Сахара, извините, нет, не употребляю, а вот мед настоящий липовый – сколько угодно. У меня позади дома улья стоят, так что мед свой.

Говорит так, а сам достает бесшумно самовар маленький, посуду. И тут я только заметил, что посуда у него деревянная. Кроме самовара железного, конечно. Чашки, ложки, тарелки, миски, даже чайник заварочный – все из дерева и украшено вот таким узором. – Павел Никанорыч указал на темную ложку.

Самовар засвистел. Хозяин ополоснул заварочный чайник, всыпал щепоть серого чая с какими-то травами и накрыл крышкой и полотенцем. Потом куда-то вышел и вскоре вернулся с большой миской меда.

– Угощайтесь. – Он придвинул ко мне чашку с чаем и тарелку. – Берите мед.

Сам он пил мелкими глотками, и на висках его выступили бисеринки пота.

– Нож этот мне от ребенка достался. Убило его на моих глазах. Не пожалел меня Бог – довелось увидеть такое... В июне 43-го, когда Горький¹ бомбили и удары пришлось по Сормовскому району (немцы все к заводу «Красное Сормово» подступались), в деревне Монастырка сгорели 80 домов. Разом. Пепелище одно было – черное, страшное.

Мне по сану и вере милостивым полагается быть и милосердие в других будить, но, ей-богу, никакого милосердия тогда я в своей душе не чувствовал, а только роптал на судьбу, что меня горбом наделила, и из-за этого я к военной службе непригоден. И только молиться могу, чтобы отвел Бог беду от нас.

Проходил я как-то мимо этого пепелища и вижу – стоит девочка лет четырех. В белой рубашке и легкой юбочке – лето ведь. Видно, место, где она стояла, – было ее домом когда-то, и она помнила об этом. У детей память короткая, но крепкая. Не всё запомнят, но если что зацепится в их голове – так уже намертво.

Как забрела сюда и откуда – неведомо. Может, спаслась случайно, гостила у кого-то, а как тут сейчас оказалась – Бог ее знает. И пока я со своим горбом и хромой ногой к ней ковылял, как около нее снаряд разорвался. Я на землю упал, а когда поднялся, ее уже не было. Девочки ...

Доковылял я к этому месту, смотрю – в ручке зажата эта самая ложка – видно, ее была. И еще ножик вот этот немецкий. Наверно, кто-то из немцев обронил, а она нашла, и таскала с собой как игрушку. Открыть не смогла, по счастью. Хотя какое уже счастье...

И что удивительное – до этого Бог миловал – смерть вот так близко видеть не приходилось. А тут увидел и хоть бы что. Ни слезы, ни крика. Разжал я ей пальчики, взял ложку и ножик. И спокоен был. Никакого страха не было, что снова может снаряд разорваться и уже меня не будет.

А когда уже дома разглядел на этом ножике две детские фигурки, то зарыдал в голос. И все Бога спрашивал: «Отчего Ты позволяешь, чтобы на оружии детские фигурки были, а живые дети погибают? Отчего, Господи? Какой у тебя в том резон?»

Не подобают Божьего промысла. Но я сомневался. Всей душой сомневался, всем существом своим. И не жалел об этом.

А потом, уже после победы, дал себе слово приумножать, сколько хватит сил, красоту на земле. Научился по дереву вырезать, киноварью и сажей узор наносить. Только вот блеска нет, ну, да и без него посуда в дело годится.

¹Горький – ныне Нижний Новгород.

Ложечку девочки той я сохранил. Не касаюсь ее. Так и лежит у меня в дальнем углу комода. А ножиком и по сей день работаю. Вырезаю в свободное от служб время.

– Помирились с Богом? – спросил я.

Он подумал немного и скривился в улыбке:

– Я же Ему всю жизнь посвятил, куда от этого деваться... Смиряться потихоньку. Только честно скажу, и Он это знает – не понимаю все равно. Как это можно, чтобы дети вот так ни за что ни про что погибали? Зачем же тогда им жизнь дарить? Сколько умных книг прочитал, все пытался сердце свое утешить, но не понимаю. А теперь уже и поздно пытаться. Стар стал.

Он помолчал и вдруг спохватился.

– Да я вас заговорил совсем. Ложитесь, отдыхайте. Белье я вам свежее постелил, полотенце на спинке кровати, а умывальник и все прочее во дворе, если вдруг ночью понадобится. А я к себе пойду.

И что-то мне подсказывало, что не уснет он до утра, будет истово молиться перед образами и искать ответа у них, у лохматой ели у окна, у звезды в небе: «За что, Господи, погибают дети?» И не образа, ни ель, ни звезда не дадут ответа.

А наутро солнце наяривало всюю!

– Вставайте, вставайте, – благодушно ворчал попик, и мне даже показалось, что ряса его стала светлее. – Умывайтесь, сейчас завтракать будем, я рыбы нажарил, лепешек испек, орехи есть, яблоки, мед. У нас места привольные, и Бог осени послал теплой. Успеете по лесу побродить, на красоту нашу полюбоваться. Никогда такого яркого октября не было, как сейчас.

– Видно было, что он искренне радуется постояльцу: соскучился по разговорам. Прямо, как я сейчас, – хитро шурился Павел Никанорыч. – И только об одном сокрушался, что я молодой, и мне с ним скучно будет. А я любил его слушать. Занятный был человек. И вырезать по дереву он меня научил. Все говорил: «Утешением будет. Красоту создавать – в радость»...

Тут Павел Никанорыч надолго умолкал и выпускал в потолок кольцо дыма. И смотрел, как оно увеличивалось, разрывалось и исчезало в воздухе. Собеседнику надлежало почтительно молчать.

– Дружили мы потом с этим попом, – как бы невзначай продолжал Павел Никанорыч. – Переписывались. Многому он меня научил. Как к жизни правильно относиться. Что ценить, а что забыть.

А спустя тринадцать лет получаю я бандероль с адресом: ул. Демократическая, дом 6. И подписано какой-то Еленой Васильевной. Открываю, а внутри письмо и тугой сверток.

В письме написано: «Я соседка вашего знакомого. Батюшка наш завещал вам это послать. Святой души человек был. Всем помогал. Дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном».

А в свертке – ложечка деревянная, темная, вся в сколах и зазубринах, ножик этот золинген и записка:

«Это самое дорогое, что у меня есть. Вам – на память и в утешение. Сберегите. Храни вас Господь».

Вот и храню с тех пор. И в жизни стараюсь во всем красоту искать. Жизни ведь в любой момент может не быть. Так зачем же ее раньше времени убивать, судьбу дразнить? Хотя, конечно, унылому все скучно. Ему и писать не о чем, и радоваться нечему, и делать нечего от скуки. Только жить-то тогда зачем? Вы согласны со мною? Не отмалчивайтесь! Скажите, согласны?!

Собеседнику ничего не оставалось, как кивнуть. Мол, действительно, зачем?

И Павел Никанорыч торжествовал. Его правота всегда была незыблемой! Ну, а что против правоты возразишь?..

Красный граф

К 140-летию А.Н.Толстого

Эссе

В начале 40-х годов XX века тех, кто приезжал к писателю Алексею Николаевичу Толстому во флигель на Спиридоновскую улицу в Москве, встречал старый швейцар со словами: «Их сиятельства нет дома. Они уехали-с в горком по делам-с!»

Толстой – дворянин по рождению – умудрился не только не попасть под прессии, но еще и занять высокое место в пролетарском обществе. Был он человеком на редкость противоречивым, поэтому и относились к нему полярно: одни любили, другие завидовали, третьи просто ненавидели и презирали. Ахматова, например, не достаивала вниманием, Мандельштам вообще умудрился дать пощечину за сочувствие и преданность большевикам. Бунин на все лады издевался над прозвищем «Красный граф», данным Толстому по возвращении в СССР. И, тем не менее, все признавали, что он был писателем от Бога...

До 16 лет его звали Алеша Бостром. Он носил фамилию своего отчима и даже не подозревал, что его отец – граф Николай Александрович Толстой, четвероюродный брат Л.Н.Толстого и А.К.Толстого.

Историки до сих пор спорят, кто на самом деле был его отцом. Мать Толстого, писательница Александра Леонтьевна, чей прекрасный образ (а в молодости она была очень красива) с такой любовью выведен А.Н.Толстым в повести «Детство Никиты», приходилась дальней родственницей декабристу Н.И.Тургеневу. В 19 лет ее выдали замуж за графа Н.А.Толстого. Семейная жизнь не была счастливой. Н.А.Толстого все характеризовали как человека грубого и несдержанного и с сочувствием относились к молодой его жене. И, в конце концов, произошло то, что должно было произойти. На одном из рождественских вечеров в Самаре она встретила и полюбила земского чиновника Алексея Бострома. У Александры Леонтьевны уже было трое детей, и она ждала четвертого. Развод тянулся долго. 10 января 1883 года родился ребенок, а тяжба между супругами все длилась. Суд, в конце концов, принял сторону обманутого мужа, и детей присудили Николаю Александровичу. И Александра Леонтьевна, понимая, что может утратить и последнего ребенка, поклялась, что он сын Алексея Бострома! Однако граф-рогоносец в своем отцовстве не сомневался. Тем не менее, Александра Леонтьевна ушла к Бострому с десятимесячным Алешей, и ребенок был записан на фамилию отчима.

А дальше жизнь пошла своим чередом. Алексей Бостром окончил реальное училище в Самаре и отправился в Петербург. И тут Александра Леонтьевна, видимо, решив, что графский титул и фамилия помогут сыну больше, чем безвестная фамилия Бостром, начала хлопотать в суде о признании отцовства Николая Александровича. Тяжба эта завершилась успехом лишь в 1901 году, когда Алексею было 17 лет.

В Петербурге Алексей Толстой поступил в престижный Технологический институт. В свободное время писал стихи. А незадолго до защиты диплома бросил университет, чтобы целиком посвятить себя творчеству. В 1911 году у него уже был издан один роман – «Хромой барин» и несколько сборников сказок и рассказов. Пьесы шли в Малом Театре.

«Яблоко еще зеленое, прекрасный сорт, и, если не загниет раньше времени, то получится отличный апорт», – так метафорично охарактеризовал молодого Толстого маститый писатель В.Г.Короленко.

Апорт и в самом деле оказался отличным. В неофициальной таблице о рангах первым (непревзойденным по стилю) из писателей считался Иван Бунин, вторым – Алексей Толстой. И дело было не только в несомненном таланте, но и в колоссальном трудолюбии. Иван Бунин, весьма критически относившийся к Толстому (Иван Алексеевич был вообще остер на язык, и его характеристики окружающим особой добротой не отличались), отмечал: «В гостях Толстой напивался и объедался, по его собственному определению, «до безобразия», но, проснувшись на следующий день рано утром, обматывал голову мокрым полотенцем и тотчас принимался за работу. Работник он был первоклассный».

Работал Толстой всегда 6-7 часов в день непрерывно, невзирая на самочувствие, настроение и недомогания. Причем проповедовал так называемый своеобразный кабинетный принцип «четырёх столов»! И, естественно, больших кабинетов: надо же было где-то эти столы разместить!

Писал Толстой всегда стоя, за конторкой первого стола. Это была работа вчерне, так сказать, только скрепы, наметки будущего произведения. Затем переходил ко второму столу, где перепечатывал написанное на машинке. Потом садился за третий стол, где редактировал себя же! И это при том, что он обладал разборчивым, круглым, почти детским почерком! Но в этой схеме был определенный смысл.

Дело в том, что писатель всегда повторял: «Все, что написано мною, – гениально и исправлению не подлежит». Поэтому отпечатанное за вторым столиком он представлял, словно присланное от каких-то молодых авторов, творчество коих он, мэтр, должен отредактировать. При этом редактировал он якобы «присланное» от других, а на самом деле написанное самим собой, скрупулезно, яростно и безжалостно! За этой работой выпивал не менее 6-7 чашек крепчайшего черного кофе и выкуривал несколько трубок табаку, тоже крепкого. У него были три любимые трубки, и каждую из них в работе над правкой он набивал по три-четыре раза. На здоровье это, конечно, сказывалось не лучшим образом. Но отговаривать графа от принятого режима работы было бессмысленно. От отца, Николая Александровича, Алексей унаследовал буйную неукротимость нрава, и горе было тому, кто пытался ему возражать!

Отредактировав текст, он клал его на стол под стекло и опять шел к конторке создавать «скрепы и наметки».

Но оставался еще четвертый стол, пожалуй, самый волшебный. За ним Алексей Толстой, по собственному выражению, «галлюцинировал». Так он называл свой метод работы над персонажами и развитием сюжета. Он представлял своих героев настолько живо, что мог, как потом признавался, «даже подслушивать их». Для этого он окружал себя вещами той эпохи, в которой они жили. Так, при создании рассказа «Гобелен Марии-Антуанетты» его кабинет украшали предметы искусства в стиле рококо. Но больше всего в кабинете писателя было предметов, связанных с его любимым героем – Петром Первым.

Алексея Толстого даже называли «помоечником» или «папой Карло» в хорошем смысле этого слова. Он мог, вальяжно прогуливаясь по барахолкам, углядеть какую-то совсем невзрачную, ломано-штопано-погнутую вещицу и принести ее домой. И оказывался: XVIII, а то и XVII век! А благодаря своему техническому образованию граф мог реставрировать и даже буквально возрождать старые вещи! Практически вся мебель в Доме-музее А.Н.Толстого на Спиридоновской улице отреставрирована руками хозяина!

Когда началась Первая мировая война, Алексей Толстой как военный корреспондент отправился на фронт, а, вернувшись в Петроград, несколько месяцев страдал бессонницей. Ему все время чудились горы трупов. В Петрограде он застал революцию, которая тоже потрясла его своим хаосом и кровожадностью. В 1918 году Толстой фактически бежал за границу, где начал писать знаменитую трилогию «Хожение по мукам».

Работы за границей не было, писатель перебивался случайными заработками, денег не хватало, а слава тоже не торопилась посетить его. И тогда, по совету Максима Горького, Толстой решил попросить прощения у новой власти и вернуться на Родину. Она встретила его, правда, не расстеленными красными ковровыми дорожками (не до них молодой стране было), но хорошо и дружелюбно.

По приезде сразу Толстой нашел себя как писатель в жанре ... фантастики. И опять его выручило техническое образование, основы которого он получил в Петербурге. Оно помогло ему при написании «Гиперболоида инженера Гарина» и «Аэлиты» – произведений, во многом аллегоричных, не совсем понятых и прочувствованных, но при этом настолько популярных, что в 1924 году режиссер Яков Протазанов снял по «Аэлите» одноименный фильм.

Талантливый человек талантлив во всем. Алексей Толстой был еще и невероятно страстным жизнелюбом. Так, оригинально, например, он утешал коллегу Михаила Булгакова в его жизненных передрыгах: «Жен надо менять, батенька! Чтобы быть настоящим писателем, нужно жениться, как минимум, три раза!»

Сам граф Алексей Николаевич был женат четыре раза!

В 19 лет он женился на Юлии Рожанской, которую знал еще с Самары. Крепкая, статная (настоящая кровь с молоком!) невеста была в интересном положении и через три месяца подарила графу Алексею Толстому сына Юрия (1903-1908 гг.).

Все бы ничего, как говорится, живи и радуйся, но Алексея все больше стала охватывать тоска – быт и скука засасывали... В конце концов молодой граф не выдержал, сбежал от семьи в ... Дрезден приобщаться к мировой культуре. А вернулся с новой возлюбленной – художницей-модернисткой Софьей Дымшиц. Она была тоненькая, хрупкая, изящная, как статуэтка, и говорила всегда чудесными неизбитыми метафорами. Так, например, капли дождя у нее были следами от босых ножек гномов, что весело шлепают по лужам. Поэтическое сердце Алексея Толстого было очаровано и счастливо! Вскоре Соня родила дочь Марианну. Жизнь потекла размереннее и... скучнее. Босые ножки гномов больше не шлепали по лужам, по ним просто удаляли капли дождя, лопааясь большими пузырями...

Дочку отдали бабушке, Соня уехала в Париж совершенствоваться в живописи, а когда вернулась, у Алексея был уже в разгаре новый роман. Он влюбился в замужнюю даму, поэтессу Наталью Крандиевскую-Волькенштейн. Граф Алексей Николаевич как лихой гусар отбил даму у мужа, женился на ней и усыновил ее ребенка. Впоследствии в браке родились еще два сына: Никита (тот самый, кому была посвящена повесть «Детство Никиты») и Дмитрий. Брак с Натальей Крандиевской продлился дольше и счастливее прочих, но и он не стал последним.

Четвертой (с октября 1935 года) и последней женой писателя стала ослепительная молодая красавица Людмила Кристинская-Баршева, пришедшая в дом Толстых в качестве секретарши в августе 1935-го.

И все жены – умные, тоже очень талантливые и очень красивые – обожали его. Талант притягателен...

В доме на Спиридоновке есть его портрет, написанный второй женой – Софьей Дымшиц. Есть в Доме-музее и портрет третьей жены графа – Натальи Крандиевской. Именно ее черты преломились в образах сестер Кати и Даши Булавиных в «Хождении по мукам». Наталья Крандиевская была прекрасной поэтессой, к сожалению, сейчас незаслуженно забытой. А в свое время ее творчество высоко ценили и предрекали ему большое будущее и Бунин, и Бальмонт, и Брюсов. Просто она, как это нередко бывает с талантливыми женами талантливых мужей, выйдя замуж за Толстого, ушла в тень, искренне полагая, что его слово в литературном мире гораздо ценнее и выше, чем ее.

А другая известная литературная героиня – девочка Мальвина из сказки про Буратино и Золотой ключик – образ собирательный. Кстати, Толстой решительно отверг идею простого перевода сказки Карло Коллоди и, сказав: «Переводить длинно, скучно, нудно. Попробую написать на основе Пиноккио новую сказку», создал свою бессмертную сказку. Считается, что одним из прототипов Мальвины была знаменитая роковая красавица Тимоша – Надежда Алексеевна Пешкова, сноха Максима Горького. В нее, яркую, улыбчивую, манящую, якобы страстно был влюблен женатый Алексей Толстой. По другой версии, прообразом «Девочки с голубыми волосами» стала Анна Ахматова, у которой с Алексеем Николаевичем были оче-е-ень сложные отношения. Более того, перешептывались, что Толстой коварно спародировал в образе Мальвины постоянную привычку Анны Андреевны поучать и назидать. «Мальчишки, немедленно мыть руки и чистить зубы!», «Кто вас только учит, скажите, пожалуйста?!», «Итак, у нас сейчас урок чистописания. А сейчас – арифметики», – эти реплики Мальвины от Ахматовой.

И, тем не менее, как бы презрительно ни относились к «красному графу» его бывшие коллеги по литературному цеху из той, еще дореволюционной жизни, но справедливости ради надо сказать, что он многим помогал, за многих заступался, и благодаря ему многие деятели культуры не были репрессированы. Той же не любящей его Ахматовой он помог с изданием сборников ее стихов. «Выбивал» для других прибавки к пайкам, ходатайствовал об улучшении жилищных условий.

Во время Великой Отечественной Толстой вновь отправился на фронт как военный журналист. Именно ему приписывают авторство лозунгов «За Родину!», «За Сталина!», «Ни шагу назад». Все это были названия его статей, которые потом стали названиями транспарантов и плакатов.

«Красный граф» не дожил до Победы всего три месяца. За несколько дней до смерти в его дневнике появилась запись, невероятно точно характеризующая этого непростого и такого обаятельного человека:

«Смерть вплотную подступила ко мне. А я все еще хочу устроить на свой день рождения веселый пир, где будет много озорства и беспечности!»

Корней Чуковский вспоминал о нем:

«Он был... человеком, который, как чудилось мне, не выносил тяжелых впечатлений и малодушно отгонял от себя всякие безрадостные мысли о неприятностях, болезнях и смерти, когда смерть вплотную подступила к нему, встретил ее без жалоб и стонов, мужественно скрывая свою боль от других.

... И остался верен себе: за несколько недель до кончины, празднуя день рождения, устроил для друзей веселый пир, где много озорничал и куролесил по-прежнему, так что никому из его близких и в голову прийти не могло, что всего лишь за час до этого беспечного пиршества у него неудержимым потоком хлынула горлом кровь.

... Походка его была такая ленивая, спокойная, барственная. В нем было много импозантного, именно барственного...»

Граф...

Рассказывали, что на дверях его дома была прибита табличка с надписью: «Гр.А.Н.Толстой». И хоть осторожные друзья не раз советовали ему убрать сокращенное слово «Гр.» (граф), он вальяжно отшучивался:

– А где сказано, что «гр.» – это «граф»? Может, это «гражданин»? Вы что, против советских граждан?!

И похохатывал, лукаво улыбаясь...

Так и жил, не снимая табличку с двери. А кто там «Гр.» – «граф» или «гражданин», каждый понимал по-своему...

Вместо послесловия. Поставила последнюю точку в эссе про «Красного графа», и вспомнилось мне стихотворение Юрия Левитанского, написанное в 1983 году. Жаль, что Алексей Николаевич не дожил до своего столетия и не смог прочитать его. Оно бы пришлось ему по душе:

**Я, побывавший там, где вы не бывали,
я, повидавший то, чего вы не видали,
я, уже там стоявший одной ногою,
я говорю вам – жизнь все равно прекрасна.**

**Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна,
даже когда трудна и когда опасна,
даже когда несносна, почти ужасна –
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.**

**Вот оглянусь назад – далека дорога.
Вот погляжу вперед – впереди немного.
Что же там позади? Города и страны.
Женщины были – Жанны, Марии, Анны.
Дружба была и верность. Вражда и злоба.
Комья земли стучали о крышку гроба.
Старец Харон над темною той рекою
ласково так помахивал мне рукою –
дескать, иди сюда, ничего не бойся,
вот, дескать, лодочка, сядем, мол, да поедем...**

**Как я цеплялся жадно за каждый кустик!
Как я ногтями в землю впивался эту!
Нет, повторял в беспамятстве, не поеду!
Здесь, говорил я, здесь хочу оставаться!**

**Ниточка жизни. Шарик, непрочно свитый.
Зыбкий туман надежды. Дымок соблазна.
Штопаный-перештопаный, мятый, битый,
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.**

**Да, говорю, прекрасна и бесподобна,
как там ни своевольна и ни строптива –
ибо к тому же знаю весьма подробно,
что собой представляет альтернатива...**

**Робкая речь ручья. Перезвон капли.
Мартовской брагой дышат речные броды.
Лопнула почка. Птицы в лесу запели.
Вечный и мудрый круговорот природы.**

**Небо багрово-красно перед восходом.
Лес опустел. Морозно вокруг и ясно.
Здравствуй, мой друг воробушек,
с Новым годом!**

Холодно, братец, а все равно – прекрасно!

При написании эссе были использованы воспоминания об А.Н.Толстом, книга «Современники» Корнея Чуковского, книга А.Н. Варламова «Алексей Толстой» М., 2008. (Жизнь замечательных людей).

Автор приносит искреннюю благодарность за предоставленные материалы.

Эффект невозмутимого лица

«Горьким словом моим посмеются» (Иеремия 20:8)

Имя поэта-пародиста Александра Иванова было знакомо многим, рожденным в СССР. Постоянный ведущий программы «Вокруг смеха» одним своим появлением на экране дарил хорошее настроение и вызывал на лицах улыбку.

Его эпиграммы, довольно хлесткие и желчные, люди цитировали как анекдоты, а поклонники и особенно поклонницы были готовы носить своего кумира на руках, что, скорее всего, не вызвало бы особой трудности: Александр Иванов был неизменно худ, высок ростом и строен. Его даже за глаза иногда называли перпендикуляром. По иронии судьбы это прозвище соответствовало ему, как никакое другое: ведь в молодости Александр Александрович был преподавателем черчения.

Он был колючим, язвительным, очень замкнутым и невероятно честолюбивым человеком. У него должно было быть только самое лучшее. Он, например, гордился тем, что у него жена-красавица, ему льстило, что его цитируют, а его ироничной манере держаться подражают. И, тем не менее, он называл свою жизнь «беспардонной пародией».

...Москва. 1992 год. Спорткомплекс «Олимпийский». Книжный рынок, на который по выходным съезжалось много народу. Один из продавцов неизменно привлекал к себе внимание. Высокий, невероятно худой, он прятал лицо под кепкой и явно кого-то напоминал. На него недоуменно косились и шептались: «Он? Не он? Неужели?»

В изможденном и неряшливом человеке с трудом можно было узнать популярного телеведущего Александра Иванова...

Он стал за прилавок не по прихоти творческого человека, не из желания «быть поближе к народу» и узнать новые языковые перлы. Причина была куда прозаичнее – безденежье. Семья юмориста едва сводила концы с концами. И это при том, что недавно он был более чем обеспеченным человеком. Звезда экрана, поэт, юморист.

Программу «Вокруг смеха» смотрела вся страна. Появление ее в эфире прославило Иванова. 18 октября 1978 года в 7 часов вечера перед голубыми экранами собрались многочисленные телезрители Советского Союза. На первой программе Центрального телевидения появился весьма колоритный ведущий новой передачи.

По задумке сценаристов, зрителей должны были веселить не только кинозвезды. Конкуренцию им составляли авторы юмористических скетчей и миниатюр. Но в успехе передачи никто не был уверен. Авторы в отличие от кинозвезд не являлись мастерами художественного слова и не владели даром риторики. Кто-то гундосил, кто-то шепелявил, кто-то обладал скрипучим неприятным голосом, кто-то гнал речь скороговоркой, как, например, Жванецкий. И, тем не менее, появление новых лиц на экране вызвало восторг у публики.

Для сотрудника «Литературной газеты» Александра Иванова роль ведущего стала дебютом. Она выпала ему по случайности.

Ведущим должен был быть прекрасный импозантный артист Ростислав Плятт, но он неожиданно заболел. Времени на поиски нового ведущего не было, и на эту роль позвали одного из авторов-юмористов. А после эфира стало ясно, что Плятту в передаче делать нечего. Она уже обрела великолепного ведущего – тонкого (в прямом и переносном смысле), саркастичного, элегантного и очень харизматичного. На следующее утро Иванов проснулся знаменитым!

Он родился в Москве в семье художников 9 декабря 1936 года. После школы поступил на факультет рисования и черчения Московского пединститута. По окончании вуза преподавал в столичном индустриальном техникуме, где ученики и дали ему прозвище «Перпендикуляр». И так бы и остался Александр Иванов преподавателем, не появившись у него тайной страсти. Он сочинял стихи. Писал, как говорится, «в стол», пока совершенно случайно не открылся его талант пародиста.

В середине 60-х воздух был напоен свободой! Кругом царил атмосфера хрущевской оттепели. Писать стихи стало модным, редакции были буквально завалены творениями поэтов и писателей всех мастей. Но издавали не всех. Тогда по рукам стали ходить самиздатовские сборники. Один из них однажды попал в руки Иванову. Качество стихов настолько оставляло желать лучшего, что он не удержался: сочинил пародию и ради шутки прочел ее в компании друзей. Сквозь хохот слышал слова: «Позабористей будет «Литературки».

Напророчили! Вскоре Иванов отправил свою пародию в «Литературную газету». Ее сразу приняли в печать, а Иванову предложили сотрудничество.

После этого у Иванова всегда в заднем кармане брюк были тоненькие книжки неизвестных поэтов. Он брал навскидку любые строчки и начинал сочинять пародии.

В 1968 году вышел первый сборник пародий Александра Иванова «Любовь и горчица». Новинку расхватили с книжных прилавков за считанные дни. Ею зачитывались, хохотали над ней. Автора стали узнавать.

В коммунальной квартире, где долгое время жил Иванов, он прослыл затворником. Ни с кем не водился, гостей приглашал редко, общался только по необходимости. Никто не мог назвать себя его близким другом, только приятелем.

В 1970 году судьба преподнесла ему еще один подарок – съемки в эпизоде детского фильма «Тайна железной двери». Он сыграл там милиционера и был до невозможности похож на книжного Дядю Степу!

Постепенно пришла популярность. Иванов сменил не только профессию, но и привычки, часто выезжал к морю. В одной из таких поездок на крымском побережье он познакомился с эффектной красавицей по имени Эля. Александр был сражен яркой красотой южанки и сразу же предложил переехать к нему в Москву. Как признавался позднее, предложение сделал весьма оригинально, сразу взяв быка за рога:

– Девушка, выходите за меня замуж. Я увезу вас в Москву и представлю высшему обществу!

Из отпуска он вернулся обладателем полноценной семьи: с любимой женщиной и ее сыном-подростком. И еще более вознесся! Жена-красавица, сын-умница, сам удачлив и успешен! Но это не была чванливая спесь, скорее удовлетворенное детское честолюбие. Не заносчивость, а именно вознесенность. Он не подчеркивал дистанцию между собой и старыми приятелями, просто стал более значительным. А это ему очень нравилось!

Казалось бы, счастье в личной жизни должно было сделать его со временем более открытым и внимательным к окружающим. Но вышло наоборот. Люди словно были по одну сторону жизни, он – по другую. Поэтому и узнал последним: Эля ему неверна, в его отсутствие встречается с другими мужчинами, ищет более успешного кандидата в спутники жизни.

Обман раскрылся на дне рождения Эли. К столу напросился один из соседей, а когда алкоголь развязал язык, сообщил Иванову правду. Разразился жуткий скандал, и в пылу ссоры женщина высказала мужу все: и что характер у него не сахар, и что она вообще никогда его не любила, а на переезд в Москву согласилась только потому, что надеялась поискать здесь другого мужа. Иванов выкинул вещи жены на улицу и ушел... в первый в жизни запой.

Несколько лет после разрыва он избегал любого общения с дамами. Спиртное стало для него насущной потребностью. Спиртное и работа...

В 32 года его приняли в Союз писателей. Он стал профессиональным литератором, первым в стране поэтом-пародистом, основателем нового жанра литературной пародии, причем его творения были куда лучше и изящнее первоисточника:

*Пародист усталости не знает.
Пишут все. А он один читает
Горы графоманской чепухи.
Легче быть, наверно, землекопом,
Сутками сидеть над микроскопом,
Нежели всю жизнь читать стихи.*

В коммуналке на Ленинском проспекте, где в то время жил Иванов, и там, и сям валялись поэтические сборники. Он скупал их пачками в книжных магазинах – ведь это была мука и вода для его хлеба пародиста.

*Ты пиши, пиши, пиши,
Сочиняй весь век,
Потому что пародист
Тоже человек.
Он не хочет затянуть
Туже поясок.
Для него твои стихи –
Хлебушка кусок.*

Через год вышел его новый сборник «Смеясь и плача». Поэта продолжали печатать на 16-й полосе «Литературки», в рубрике «Клуб 12 стульев». Но истинная слава Александра Иванова была еще впереди.

В начале 80-х годов на экране не было популярнее передачи, чем «Вокруг смеха». Может быть, немного с ней могла соперничать «Кинопанорама» и «Что? Где? Когда?» Но по жанру «Вокруг смеха» не было конкурентов. КВН, столь любимый в 60-е годы, был закрыт по цензурным соображениям. Слишком смелыми и острыми показались шутки. В пору обострения отношений с Польшей была закрыта передача «Кабачок 13 стульев». На этом фоне передача «Вокруг смеха» явилась отдушиной для советских граждан.

Кроме ежемесячного выпуска «Вокруг смеха», к эфиру готовятся специальные, приуроченные к Новому году, Восьмому марта, Седьмому ноября. Сколько артистов стали узнаваемыми благодаря ей: Александр Филиппенко с юмореской Жванецкого, Татьяна Догилева, Любовь Полищук, Леонид Ярмольник с номером «Цыпленок табака», Вячеслав Полунин с номером «Асисяй». В передачу впервые пришли со своими скетчами и эпиграммами Аркадий Арканов, Григорий Горин, Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов. Телезрители впервые услышали в ней Надежду Бабкину и Александра Розенбаума. А на уже известных исполнителей Александр Иванов писал эпиграммы, сразу разлетавшиеся в народ. (Кстати, последним самородком, которого открыла «Вокруг смеха», был Михаил Евдокимов. Его пригласили на передачу из Барнаула, где он был... заведующим столовой).

Юмор в программе «Вокруг смеха» был высокой пробы. Пошлости не допускали. Это было исключено. Но цензура шуток была строжайшая.

Так, например, если цензура говорила, что про продукты не должно быть проинесено ни слова, то это должно было выполняться неукоснительно.

Иногда доходило до абсурда.

То есть, если было предписание: ни слова о мясе или молоке, то конференсье могли вызвать к руководству телевидения и распекать его примерно в таком духе:

– Почему вы сказали о мясе? Вам же было велено ни слова о продуктах!

– Я? О мясе? Когда?!!

– Ну, как же. Вот на 37-й минуте вы сказали фразу: «Вернемся к нашим баранам», то есть косвенно обмолвились про источник питания.

Создатели программы ходили по острию ножа. Иногда даже невинные намеки вызывали подозрение. Только ведущему позволялось практически все. Коллеги с юмором отзывались об этом факте так: «Эффект невозмутимого лица». Пародист вещал о недостатках в обществе с той же серьезностью, что и высокое начальство на пленумах. Иванов стал шоуменом задолго до распространения этого слова в информационном пространстве.

Он был интересен тем, что был необычен. Худой, длинноволосый, с вислыми усами, но при этом в костюме с иголочки, он выделялся своим шармом и импозантностью. Доходило до того, что заурядное имя и фамилию Александр Иванов принимали за псевдоним и на концертах настойчиво просили пародиста раскрыть свое настоящее имя.

Александр Иванов сидел за низким журнальным столиком телестудии «Останкино» и время от времени вальяжно объявлял выступающих. Рядом художник рисовал шаржи на исполнителей. Но из зрительного зала и по ту сторону экрана иногда казалось, что пародист скучает. И нередко это было правдой. Сан Саныч, как ласково называли его знакомые, не очень любил сценарную часть программы, отбивал ее как повинность. И по-настоящему оживал, только когда выходил со своими пародиями. Тут ему не было равных.

Многие поэты мечтали попасть в пародии к Иванову. Для них это была своеобразная путевка в большую литературу, лучшая реклама. Почтальоны пачками носили Иванову посылки со стихами. Некоторые авторы лично дарили сборники своих стихов пародисту. Да еще и отмечали карандашом строки, которые, по их мнению, лучше подходили для пародий.

На острый язык Иванову попадались и маститые поэты. Вознесенский, Доризо, Евтушенко, Искандер, Дементьев – кто только ни становился объектом искрометных и хлестких пародий.

Чего стоит, например, хотя бы пародия на подчас заумные стихи Андрея Вознесенского:

*Беру трагическую тему
и окунаю в тему темя,
дальше начинается невероятное.
Вера? Яд? Ной? Я?
Верую!
Профанирую, блефуя!!!
Фуй...*

*Чихая нейлоновыми стрекозами,
собаки планируют касторкой на вельвет,
таракашки-букашки кашляют глюкозой.
Бред? Бред.
Пас налево. Семь трэф. Шах!
Мыши перламутровые в ушах.*

– БРЕД, БРЕД, БРЕД, БРЕД, БРЕД, БРЕД.

Реакция маститых была неоднозначной. Андрей Дементьев, например, поблагодарил передачу «Вокруг смеха» за дополнительный тираж сборника стихов! А зачетный за живое поэт и писатель Фазиль Искандер ответил эпиграммой, которую сам Иванов считал лучшей из написанных в свой адрес:

*Скорбен лик у Иванова,
Хоть пиши с него святого.
Благодушен в скорби он,
Как весенний скорпион.*

Однажды на гастролях в Иркутске к Сан Санычу ворвалась экзальтированная дама, оказавшаяся учительницей русского языка и литературы. Она в самых пылких выражениях поблагодарила пародиста за творчество, а потом подсунула ему тоненькую брошюрку, сказав, что это самая низкосортная графомания и тут для Иванова непочатый край для работы. Александр, не глядя, схватил брошюрку и только на следующий день увидел на обложке имя автора: Даниил Хармс! (*Даниил Иванович Хармс (настоящая фамилия Ювачёв) 1905-1942) – русский и советский писатель, поэт и драматург. – Л.Б.*)

С концертами Иванов гастролировал по всей стране. И после них, как водится, почти всегда случались застолья. Окончить день дозой спиртного вошло в привычку. Впрочем, это было не ново для него. Когда-то спиртное помогло ему справиться с жесточайшей депрессией.

После одного из концертов в Ленинграде застолье в Доме литераторов посетила восходящая звезда Мариинского театра балерина Ольга Заботкина.

Как вспоминали друзья и знакомые, у нее был облик советской отличницы-красавицы. Целеустремленный взгляд, твердый маленький подбородок, широкий лоб, косы, уложенные короной вокруг головы. Небольшого роста, но очень ладная. О таких иногда говорят: «маленький монолит». Ей, кстати, довелось сыграть главную героиню в фильме «Два капитана» (1955 год) – Катю Татаринovu, и эта роль как нельзя лучше соответствовала характеру актрисы, что называется, «легла на нее».

Ее окружали самые роскошные мужчины страны. Богемный мир, затаив дыхание, следил за ее бурным романом с Алексеем Баталовым, а потом долго судачил об их расставании.

Ради Оленьки Заботкиной Иванов оставил пагубную привычку. Как ему казалось, навсегда. Чудесный «маленький монолит» обещал надежную спокойную жизнь и долгое счастье. Но главным оружием за сердце Ольги было его искрометное перо.

Иванов решил переехать в Ленинград, чтобы быть ближе к любимой. Ухаживал шикарно – слава Богу, было на что. Заваливал цветами и подарками. Злые языки шептались: роман с Ивановым – это месть Заботкиной Баталову. Но Ольга почувствовала: Александр ее любит по-настоящему, и сердце ее дрогнуло.

Успех в личной жизни совпал с взлетом в карьере. Вскоре после знакомства с Ольгой Александра пригласили принять участие в первом выпуске «Вокруг смеха». Теперь уже балерина сделала благородный жест – покинула сцену и уехала вслед за мужем в Москву. В 80-м, через два года после знакомства, они сыграли пышную свадьбу.

Ольга была красавицей, очень обаятельной, прекрасной хозяйкой. Кроме того, она серьезно следила за имиджем мужа, выбирала ему костюмы, галстуки, сорочки. И надо сказать, что учеником Иванов оказался на редкость талантливым. Он потрясает, даже как-то музыкально умел носить вещи, а вместе с тщательно уложенной прической облик получался сногшибательным: красивый, элегантный мужчина! Ольга всегда с гордостью говорила: «Я жена Сан Саныча Иванова». Ей нравилось находиться в тени знаменитого мужа, а он светился от счастья.

Они купили квартиру в престижном доме около метро «Аэропорт». Ольга Заботкина (вот уж, действительно, говорящая фамилия) заботливо и изысканно обставила ее. Оба мечтали о детях. Но вердикт от врачей был безжалостен: детей им иметь было не суждено. Всю нежность они отдали питомцам – котам и собакам.

Ольга стала, что называется, тенью мужа, его серым кардиналом. Ее так и называли друзья семьи. Она не пропускала ни одной записи «Вокруг смеха», сопровождала мужа на гастролях, присутствовала на всех посиделках вместе с ним. Была начеку. Подвыпивший Сан Саныч мог покачиваясь переходить от столика к столику и приставать к людям с невнятными разговорами. Жене приходилось идти на уловки, чтобы избежать скандала. Однажды она вызвала даже «скорую», чтобы увезти захмелевшего мужа в гостиницу. Для Иванова невинное застолье могло вылиться в запой.

В семье постепенно назревал скандал. Сан Саныч начал упрекать жену в чрезмерной бережливости, даже скупости. Она не позволяла ему шиковать, покупать вещи в дорогих магазинах. Он вынужден был шить костюмы у портных Литфонда строго в порядке очереди, но при этом с большими скидками. Ездил на метро, а не на такси. Причина такой экономии была проста и горька: Ольга не давала ему денег в руки, чтобы он не потратил их на выпивку.

Семейная жизнь с царственной красавицей больше не приносила ему ту радость, о которой он мечтал в первые дни брака. В начале 90-х пришла новая беда: Иванов остался без работы. Передаче с ее тонким интеллигентным, лишенным всякой пошлости юмором, нелегко было вписаться в современный грубый мир.

Когда замаячил вопрос о закрытии передачи, Иванов был встревожен, но не запаниковал. Был уверен, что возможности есть, просто надо искать, экспериментировать. Но, несмотря на все его усилия, передачу все же закрыли.

Последний выпуск «Вокруг смеха» с легендарным ведущим Александром Ивановым вышел в свет осенью 91 года.

Словами *«Прощайте. Не поминайте лихом. Вспоминайте хоть иногда»*, сказанными как будто в шутку, Сан Саныч попрощался со зрителями. Никто в зале и не понял, что эти слова были произнесены всерьез и навсегда.

Начало 90-х с бешеным ростом цен, ваучерной вакханалией, призывами к забастовкам, нескончаемыми и путаными финансовыми пирамидами требовало нового юмора. Вчерашние нарядные, доброжелательные зрители, ценившие тонкий юмор и изысканный сарказм, теперь трудились на двух или трех работах, приходили домой измочаленные. Им не нужны были изысканные грани иронии, им надо было бездумно посмеяться и сбросить с себя тяготы дня. Своего рода душевный душ, смывающий усталость.

Передача «Вокруг смеха» больше не отвечала потребностям зрителя. На смену ей пришли сериалы про бандитов, бразильское мыло, программы бесчисленных целителей, заряжающих через экран воду и излечивающих все недуги. Может быть, единственным светлым пятном среди этого низкопробного ширпотреба явились «Петербургские тайны», 1994 года. Не сериал, а действительно добротный многосерийный художественный фильм с хорошей актерской игрой и продуманным сюжетом.

Денег катастрофически не хватало. Книжный рынок в Олимпийском, куда Иванов ходил как на работу, его сборники пародий покупали все меньше. Стоило на какое-то время выпасть из поля зрения публики, не появляться на экране, как о нем и о передаче стали забывать. Ущемленное самолюбие (и честолюбие) Иванов по привычке топил в алкоголе. Но, помимо зеленого змия, Сан Саныч решил еще удариться в политику. Литературные пародии сменились политическими памфлетами. Поэт стал борцом за перестройку, причем вел борьбу оригинальным способом – писал политические пародии на тогдашних партийных лидеров, считая это лучшим средством выражения собственной общественной позиции.

Иванов пришелся ко двору новой власти. Познакомился с Ельциным, стал доверенным лицом первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Но, уйдя в политику, Иванов утратил очарование своего литературного творчества прошлых лет. Жанр литературной пародии, взлелеянный им, умер еще при его жизни. Он остался первым и единственным поэтом-пародистом СССР.

Наградой за верность новой власти стали щедрые гонорары. Иванов смог приобрести виллу в Испании. Но возврат к бывшей роскоши обострил пагубную привычку – любовь к зеленому змию. И как следствие – резкое ухудшение здоровья. Невозможно было без комка в горле смотреть на одно из последних его появлений на экране – в передаче, посвященной Кларе Новиковой. На кухне у знаменитой юмористки некогда известный ведущий ел борщ и выглядел при этом так, что Клара Новикова, словно на минуту забыв, что стоит перед камерой, жалостливо наклонилась над Ивановым и почти шепотом спросила: «Еще подлить?»

Ольга Заботкина не оставила мужа в трудный час. Ее усилиями у Иванова были периоды трезвости. Это продлевало ему дни и давало возможность выступать перед зрителями до последнего дня.

В июне 1996 года в разгар президентских выборов Иванова пригласили в Москву выступить в поддержку Бориса Ельцина. Сан Саныч оставил жену в Испании и поехал один. Правда, поговаривали, что причиной его отъезда был якобы звонок от «друзей» с известием о присуждении ему Госпремии. Такая вот злая шутка...

Никакой Госпремии, конечно, не было. Но вдали от «маленького монолита» Сан Саныч сразу же ушел в тяжелый запой. И сердце не выдержало.

12 июня 1996 года в номере гостиницы «Россия» Александра Иванова не стало. Ольга срочно вылетела в Москву для организации похорон. В это время кто-то проник на их виллу в Испании и выкрал весь архив поэта. Все то, что он писал для себя...

Только после смерти юмориста стало известно – он с юности писал лирические стихи. Только все это после кражи на испанской вилле было утрачено. Во всяком случае, не опубликовано под именем автора – Александра Александровича Иванова, бессменного ведущего передачи «Вокруг смеха», одного из светлых островов нашей памяти.

P.S. Ольга Заботкина пережила мужа на пять лет. Последние несколько лет сильно болела, почти не выходила на улицу, никого не приглашала к себе. «Я не хочу, чтобы вы меня такой видели», – отвечала друзьям по телефону. Ее не стало 21 декабря 2001 года. Желала быть упокоенной в родном городе – Санкт-Петербурге. Так и поделили они с мужем две столицы: он в Москве, она – в Санкт-Петербурге.

Примечание: При написании статьи были использованы источники: «Не писал стихов – и не пиши» Слава и падение пародиста Александра Иванова»; «Смерть на дне стакана...» ivanov-portal.ru. и «Жизнь и смерть Александра Иванова». А также стихи-пародии самого А.А.Иванова. Автор приносит благодарность за использованные материалы.